

А что небо одно —
Это очевидно.

Течет таежная речка Пескошучка, течет, играет на километровых перекатах, собираются, застылая под тенью тальника, в пlesaх, хитро из них выкатывается и бежит дальше. А перед сопкой Козий Пул превращается в Козье озеро, затем огибает сопку двумя рукавами — Пеской и Щучкой, — сливается и уже Щучкопеской тянется к великой сибирской реке. Но далее Козьего Пула нам делать нечего, да если и появится вдруг какое задрель, нам туда просто-напросто не попасть: там живут злые Бабаи, стучат, гремят, воду в Щучкопеске мутят и нервничают очень, когда за ними люди подглядывают, а нервничая — и извести могут. Так вот, Козий Пул, говорят, если смотреть на него с вертолета, в стародавние времена напоминал огромную палатку. Я в этих местах на вертолете не летал, Козий Пул сверху не видел, но в то, что это так, верю охотно. Тем более что говорили мне об этом люди наблюдательные, но не болтливые, хорошо помнящие старину.

Западная поля сопки заросла ельником, восточная — лесом смешанным. А по плешине от вершины на юг и на север вытянулись две длинные, не менее чем километра по четыре, улицы. И стоят, кособочатся на этих улицах еливы, пенельного цвета, и листьявшие, коричневые от столетнего загара, дома, и живут-проживают в тех домах преимущественно рыжие да белые брысы козыепуповцы. Но козыепуповцы — не самоназвание. Козыепуповцами их называют люди с материка, и называют так, что в их голосе всегда можно уловить и иронию, и насмешку, и что-нибудь еще. Сами же островитяне осознают себя (и строго между собой разделяются) как левощекинцы и правощекинцы, ибо улица северной поля с речкой Щучкой есть не что иное, как деревня Левощекино, а противоположная, с речкой Пеской, соответственно — Правощекино. В целом все без исключения козыепуповцы славятся своей широко известной на материке козыепуповской осторожностью, но писаным законам и правилам которой человек, семь раз проверивший, а один раз отрезающий, либо еще не вышел из детства, либо уже впал в него. А козыепуповки знамениты безгрешной пре-

данностью своим мужьям, непомерно-длинными языками и не имеющей граней сердечной доброгостью.

Так вот, на самой макушке Козьего Пула, между Левощекином и Правощекином, лет семь назад были построены гараж и контора, на двери которой до сих пор висит табличка с разбитым в первый же день ее появления из рогатки стеклом. На табличке по черному полю зелеными буквами с черными подтеками оформлена такая вот надпись:

БОРОДАВЧАНСКИЙ ДОРОЖНЫЙ УЧАСТОК дистанция № 2

До гаража и конторы еще ни один архитектурный ансамбль не венчал собою маковки Козьего Пула. Негласное постановление запрещало какое бы то ни было строительство на этой, как арена гладнаторов, утрамбованной, пропитанной кровью и потом многих поколений территории, служившей с древних времен козыепуповской истории местом разрешения спорных вопросов, возникающих зачастую между левощекинцами и правощекинцами. И ни один, даже свихнувшийся, козыепуповец не отважился бы выстроить — зная, что лишится от огня в первую же ночь «обмывания», — здесь дом или поставить баню.

Однако времена меняются. И вот уже семь весен подряд, как по Левощекину, так и по Правощекину, в Песку и в Щучку несет талые воды доротделовский мазут. Но вовсе не просто так, не красы ради, расположилась на макушке Козьего Пула дистанция № 2, и далеко не напрасно ее существование под голубым козыепуповским небом. А козыепуповцы хоть и ворчат по поводу оседающего по весне в их огородах мазута, но красного петуха не пускают. От моста через Песку до моста через Щучку — вся дорога, длиною в две деревенские улицы, состоит под опекой и наблюдением этой дистанции. И надо сказать, будь я козыепуповской дорогой, не случилось бы у меня, честное слово, припадков раздражения от излишней щепетильности своих опекунов и не зародилось бы обиды на их абсолютные безразличия. Нет, не шутки ради пристроилась на вершине Козьего Пула дистанция № 2.

В конторе, в этой уютной резиденции изредка наезжающего из Бородавчанска дорожного мастера Касьянова Октябрина Августовича, над столом, на прибитых к стене деревянных планочках, висят два тетрадных листа. На одном из них, где красной гуашью начертано «Обязательства», тракторист Левощекин Владимир Иванович и грейдерист Михаил Трофимыч Нордет хладнокровно, без угроз и без лишних выражений сооб-

шают о том, что они собираются сделать и, будьте уверены, сделают к концу этого года. А на другом — тракторист и грейдерист дистанции № 2 сдержанно, без злобы и без истерики вызывают на поединок тракториста и грейдериста дистанции № 3. Я все это читал и доложу честно, что лично у меня никаких сомнений насчет того, чья одолеет, не осталось. Что ж, ваше нетерпение вполне понятно. И я в свое время с большим удовольствием посмотрел на этих ребят. Но, может, не сегодня? Может, завтра, во вторник, 14 сентября? Завтра вы заняты, у вас завтра... простите, как вы сказали?.. Приемный день?.. Ах, вот как. Ну что ж с вами делать! Будьте любезны.

Понедельник, 13 сентября... Но тут я говорю сам себе: прервись, предупреди друзей своих, скажи им, что ты панически веришь в магию чисел и черные понедельники, ты знаешь, как начинаются и чем порою заканчиваются подобные дни в столь тихих, столь затерянных уголках столь необъятной страны. Как важно, например, иногда с той ноги встать, вовремя три раза сплунуть, а когда надо, держать в кармане фигу, — многие ведь из нас ходят по одной жердочке. И уж абсолютно все — под одним небом.

Так вот, понедельник, 13 сентября. Утро. Утро как утро. И ничего необычного. И ничего сверхъестественного. Старые люди сообщают, будто перед тем как взойти солнцу и развязаться первой мировой войне, по козлеуповскому небосводу пронеслась со зловецким свистом кайзеровская каска, а перед концом войны на многих воротах, особенно новых, за ночь проступило самое матерное словечко — какое? — даже самые грязноязыкие козлеуповцы повторить не решаются. А тут хоть бы что. И ни облака — ни вчера с вечера, ни сегодня с утра. И солнце взошло как следует. И туман над Пеской и Щучкой, кольцом опоясавший Козий Пуп, натурально цвета. Телята, задржав упругие хвосты, беззаботно бегающие по тронутым инеем полянам, глупы и веселы. Выпущенные после дойки, влюбленные в жизнь и в родину свою — Козий Пуп — коровы, карими глазами наблюдающие за своими отпрысками, мудры и безмятежны. Ни одному козлеуповцу не приснился дурной сон. И ни одной шальной машины. Ни единого металлического звука. И никакого знаменья. Где-то там, на краю Лёвошекина, скрипнули и тут же звякнули щеколдой ворота. В перспективе такой же прямой улицы на фоне такого же матового тумана показалась фигура человека. Воздух свеж и прозрачен. Прозрачен так, что увеличивает — выпуклый будто. И нет надобности пользоваться оптикой, чтобы различить: обе фигуры дви-

жутся друг другу навстречу. Так оно и есть. И ранним будничным утром быть иначе просто не может. Разве что с такого отчаянного похмелья, когда мозг начисто забывает про ответственность своей руководящей роли и начинает подшучивать над телом. Но такое и бывает если, то лишь после куцей ноябрьской ночи, а за сентябрьскую ночь можно не только выпастись, но и переспать. Так что нынешним утром и Лёвошекин Володя и Михаил Трофимыч Нордет, оба руководствуясь здравым рассудком и чувством долга, идут в гараж, чтобы бок о бок расчитать и закончить бок о бок рабочий день. А пока они не достигли своей цели, я многое успею вам наговорить.

Было вот что.

Было Правощекино, а на самом краю Правощекина, возле моста через Песку, был дом. А в доме этом жили Нордет, Нордетиха и Нордетята. Нордетята, все, как один, были маленького роста, черномазенькие и кудрявенькие. Нордетиха, урожденная Правощекина, тоже была маленького роста, черномазенькая, но не кудрявая. Некудрявым был и Нордет. Еще был сухим и высоким, как скворечня, этот самый Нордет. И когда на исходе дня, праздничного, воскресного или просто удачного, возвращался Нордет домой, Нордетиха, едва накинув шаль, уходила, точнее, испарялась и оседала у соседки, а Нордетята двенадцатью коротенькими ножками разбегалась по всему Козмее Пуу. Безо всякого интереса поглядывая на них через вымытые всегда до блеска стекла окон, безучастно говорит в таких случаях козлеуповцы: вон, опять табор подался в горы. Как и все коренные островетянки, Нордетиха отличалась преданностью и покорностью своему мужу, позволяя себе лишь единственную вольность: в добрые минуты жизни называла его Скворушкой, а в худшие — Скворешником. Нордет, не разуваясь, что, по его твердому убеждению, было весьма проявлением и признаком настоящего мужа, отпа и хозяина, ложился на кровать и маленькими бурными глазами подолгу упирался в потолок. И конечно, потолок то резко падал вниз, то уносился в невероятную высь или начинал вдруг вращаться с песнями да частушками вокруг засиженной мухами электрической лампы. Такое поведение потолка Нордету было не в диковинку, и поэтому его маленькие, подобрешные бурные глазки тускнели, тускнели и в конце концов прикрывались урюковыми веками. Так все и было. И, конечно же, было еще зло: жил в ельняке на острове злодей ярый, змий эсленый, душегуб, всем островетянам враг, а Нордету приятель. Другу зеленому благодатю кровь в жилах Нордета не кисла. Кровь в его жилах была подчинена четкому, отлаженному ритму:

голова — ноги, ноги — голова. Нордет ритм этот ощущал всеми клетками своего длинного, чуткого тела и регулярно про себя фиксировал: старые дрожжи — новые дрожжи, новые дрожжи — ага, скворцы залетели. Четкость ритма обеспечивалась до сей поры добросовестной службой сердца, которое было у Нордета больше Вселенной. Вселенной, может быть, и не больше, но и ненамного меньше, так как вселялась же в него песня, длинная настолько, что, добравшись до магазина, расположенного на другом краю Правощекина, Нордет и до середины ее не успевал дотянуть. Песню, как цыганские дороги бесконечную, он допевал у прилавка и на обратном пути. И было у этой песни два варианта: один веселый, печальный другой. Выбор варианта зависел от настроения, а настроение Нордета зависело даже от солнечного зайчика. Веселый вариант песни начинался так:

Расскажу вам о Нордете,
Как Нордет живет на састе.

И вот как он заканчивался:

Граху — прах, войне — война,
А Нордсту — чап вила.

Второй вариант общего с первым имел только мотив, но исполнялся гораздо медленнее, задумчивее, с щемящими душу захлебками да со скворчинными прищелкиваниями, и обладал совершенно иным текстом. Первыми строчками его были такие:

В атмосфере есть предмет
Под фамилией Нордет.

И такими вот были его последние слова:

Гаснут звезды, меркнет свет —
Без рубля сидит Нордет.

Кроме веселья и печали знал Нордет и промежуточное состояние духа, пребывание в котором осложняло выбор варианта и обрекало Нордета на неопишуемые муки. Это обстоятельство и побуждало его обратиться к автору первых двух вариантов с тем, чтобы тот как можно скорее (не за спасибо, конечно) создал и третий. А пока Нордет из всех сил старался в промежуточное состояние не впадать, а оказавшись в нем (по причине затянувшегося безденежья, или: «лабаз закрыт и в багажнике дуля»), — побыстрее из него выкарабкаться. Добавлю только еще то, что даже Нордетиха, будучи не в силах переносить Скворушкины мучения, встретившись как-то с автором с глазу на глаз, попросила его (не за спасибо,

разумеется) о том же самом, то есть — поторопиться с сочинительством.

Но кто же этот гений, спросите вы, кто творец этих замечательных куплетов? И в своем предположении вы окажетесь правы. Да, это он, Лешошкин Володя, тракторист, соратник Михаила Трофимыча по работе. Еще в шестом классе обследовавшие козлепуповских школьников врачи дали Володе будмажну, взглянув на которую, представители Бородавчанского района больше никогда не донимали Володю обязательным восьмилетним образованием. И после этого не одну весну и осень, закинув удильца на плечо, ходил Володя мимо школьных окон, изводя завистливых козлепуповских учеников, на Песку, на Щучку, на Пескошучку, на Щучкопеску и, конечно же, на Козье озеро, где, вероятно, в созерцании поплавок и водной глади и сформировался его поэтический гений. Имел Володя, как, видимо, и полагается созревающему поэту, на своем юношеском лице прыщи. И были у него ясные, правильные, цвета монетки-серебушки, глаза. В момент своего совершеннолетия, выпавший на Ильин день — самый разгар рыбалки, — Володя забросил на чердак удильца и поехал в город, чтобы устроиться там на поэтическую работу в Бородавчанское отделение милиции. Володины целомудренные глаза и поэтические прыщи весь отдел кадров привели в величайший восторг. И быть бы уже Володе сотрудником упомянутого учреждения, но возьми, как на грех, да и попадись кому-то на вид выданная парню врачами пять лет назад злосчастная бумажка. Таким образом и остались для Володи голубой мечтой серо-голубые погоны и золотистые со звездочкой пуговицы — к его огорчению, но к счастью и ликованию козлепуповских девушек. А осенью он поступил в Пескошучьевское профессионально-техническое училище и уже год спустя разбирался в тракторе, как в стихах, а в стихах — как в тракторе.

Ко времени моего рассказа стихами его были исписаны две общие тетради по девятости шесть листов. Авторскою рукою тетради были оформлены так:

На титульном листе большими малиновыми буквами:
ВЛАДИМИР ЛЕВОШЕКИН-КОЗЬЕПУПОВСКИЙ

Выполненная тушью в середине листа надпись гласила:

Стихи собственного сочинения

И чуть ниже:

ТОМ I

А уж в самом низу:

Козий Пуп. 1975—197... годы

И попрошу заметить, ведь не просто там «Левощекино» а «Козий Пул», что само по себе (не я один так думаю) на-
такивает на мысль: истинно, чужд гению дешевый патрио-
тизм.

На внутренних разворотах корочек первого и второго томов
приклеены снимки симпатичных девушек из всевозможных
журналов, под которыми наискось, чтобы красивее, сделаны
лаконичные надписи вроде:

Мила, голубушка, мила,
Да есть и помилее КТО-ТО!

Я, могу вам похвалиться, не только видел, но и держал
в руках эти сборники со страницами, буквально залитыми сле-
зами козыгуловских читательниц, и скажу откровенно: изу-
млению моему нет предела, я был потрясен. А особенно в тех
виришах, где тоскующий дух поэта, оставляя дома, на табу-
ретке, брэнное тело, уносится в поисках Большого и Настоя-
щего в козыгуловские дали. Но в спазмах восторга меня
оставил короткий шедевр, в котором воображение стихо-
творца забегает за л ю б и м о й, уносит ее в те же козыгулов-
ские просторы и заставляет там, сказав, конечно: прости, р о д-
на я, — пасть на колени и рыдать над «телом ромашки, раз-
давленным грубым медведем».

И вот уж совсем недавно, в первых числах сентября, все
девушки от двенадцати до тридцати лет из Левощекина и
Правощекина переписали в свои дневники свежее стихотворе-
ние. А было оно таким:

Вот опять сентябрь окружил листву
Толп снега ждать толь дождя
Скоро гуси принесут нам зиму
И зима в природе не здря

Козий Пул, Козий Пул, Козий Пул.

И не только это не здря
Все идет своим чередом
Снега запах чует ноздри
Чует норка — зима за углом

Козий Пул, Козий Пул, Козий Пул.

Не хватило в чернилке чернил
Чтобы этот стих дописать
Синей кляксой иссякших сил
Суждено видно мне умирать

Козий Пул, Козий Пул, Козий Пул.

Но не умер лиит без чернил
У пиита есть карандаш
Карандаш мне Нордет одолжил
На мол с полочки отдашь

Козий Пул, Козий Пул, Козий Пул.

И изрек я Нордету тогда:
Век мне щедрость твою воспевать
Пусть за трактором грейдер всегда
Будет нашу дорогу ровнять

Козий Пул, Козий Пул, Козий Пул.

И коль жизнь тебе рыкнет: да!
Не спеши отвечать ей: нет
Вот когда она скрипит: нет
Как топориком рубани ей: да!

Козий Пул, Козий Пул, Козий Пул.

Многие, пожалуй самые трогательные, Володины открове-
ния сопровождаемы посвящением, зашифрованным вот так:
П. Л. Т. И я думаю, не выдам бог весть какого секрета, а мо-
жет быть, даже сыграю на руку будущим литературоведам,
если распишут сие как Правощекина Любовь Тарасовна.
А заодно сообщу ее точное место жительства: Бородавчанский
район, село Правощекино, улица Пескореченская, дом № 234.
Индекса, к сожалению, не помню. Ну да это легко отыскать:
в справочнике на любой почте. Добавлю лишь, что на поко-
пившихся воротах, хозяйном которых является Нордет Михаил
Трофимыч, дежем, почти в рост человеческий, выведены цифры:
235. Описывать вдохновляющую поэта деву, надеясь на встре-
чу с ней, не стану да и вряд ли успею, так как мои герои уже
протянули друг другу руки.

— Здорово, Вальдебар Рождественский, — так и сказал
Михаил Трофимыч. Почему «Вальдебар», он и сам, пожалуй,
ведать не ведаёт, а вот «Рождественский» — это прямой резуль-
тат телевизионных блдений во времена власти промежуточного
настроения, болезненно нуждающегося в третьем варианте
любимой песни. — Где пил, хлопцы! Я тебя двое суток не ви-
дел. Вру, видел во сне: ты мне сапоги спиртом чистил, но один
хрен: курица не птица, слово не воробей, хотя и то и другое
не поймаешь.

Володя, ответив на пожатие и высвободив руку, поднял
вверх ладонь и повел ею так, словно отогнал клуб махоро-
чного дыма, то и дело, как из печи с перекрытой трубой, выплыва-

ляющего изо рта Михаила Трофимыча: бутылка портвейна — разнеши. Нет, он не пил. Он просто устал. Три ночи его не отпускала творческая лихорадка, три ночи его насиловала Муза.

— Это пьем потому что лишь бы чё, лишь бы пить. Напасть прямо какая-то. Меня тоже к утру едва отпустила. Со всем затрясло, будто по колдобинам, мать честная, всю ночь на телеге прокуролесил... или всю ночь на везике проидел.

Сказав это, Михаил Трофимыч так головой кивнул, словно печать, утверждающую истинность сказанного, поставил.

С шиферных крыш конторы и гаража, с обращенных к солнцу сторон, падали капли. С синего капота и желтой кабины трактора тоже стекали не капато, не плакал грейдер, так как стоял с грейдера ничего не капато, не плакал грейдер, так как стоял грейдер в тени гаража. На наличниках окон сидели и чивкали воробы, поглядывая на гуляющих по мазутной ограде ворон: мы, мол, воробы, а вы, дескать, вороны, ну и хрен с вами. И видно было, что воробьям нравится здесь сидеть и чивкать, а воронам — разгуливать и не каркать.

Вот при каких обстоятельствах Володя в берете и в сапогах, а Михаил Трофимыч в сапогах и при кепке-восьмиклинке открыли калитку и направились каждый к своей технике.

— Сволочи, по земле шагают — жди хорошей погоды. Правда, от них, от поганок, дожدهшься, специально так делают, чтобы запутать, — так и сказал Михаил Трофимыч, а затем добавил:

— Ах, мать честная, чуть не забыл. Мне тут две ночи кряду мысль интересная в голову напонадилась: почему бы не сделать выходной не в субботу, а в понедельник, — сказал Михаил Трофимыч и гикнул на ворон:

— Опять, паверно, паршивки, на мое кресло наворотили. Вороны оторвались от земли, каркнули, мол, придурок, мол, бы и не гнать, сами, дескать, собиравлись, а как какали на твоё паршивое кресло, так и будем какать, сторожа, мол, нанимай, если не нравятся, и полетели в сторону слышка.

— Страмовки! — бросил им вслед Нордет, уже поднимаемая на площадке грейдера.

Открывая крышки капота и проверяя в пускате наличие бензина, Володя заметил, что Нордет бесподобно не прав по отношению к этим мудрым пернатым, в которых, если похорошеет к ним приглядеться, можно обнаружить многие человеческие черты и замашки и которых надо любить и уважать как нашего меньшого и летучего брата.

Михаил Трофимыч, смахивая верхонкой с железного, в дыролку — как крупное сито, грейдерского кресла иней и вороний помет, пробурчал: «Пусть их бабай уважает. Человек-то, слава богу, ни один еще не пришел и не догадался на кресле, как меньшой, но брат, кучу оставит», — а громче, так, чтобы слышал Володя, сказал:

— А ты-то как, хлопец, думаешь насчет выходного не в субботу, а в понедельник?

Володя по этому поводу думает так: сделал выходной в понедельник, тогда понедельник станет вторник, а устрой его во вторник, тогда в понедельник махом превратится среда, так что уж хоть не хошь, а надо ломать себя и привыкать как-нибудь к такому порядку.

— Со стороны точки зрения, так-то оно так, но один хрен: курица не птица, слово не воробей. А мне тут еще одна хитрая мысль плещу просла. Возвращаюсь я третьего дня домой, и всю дорогу впереди меня длинная тень, ни влево, ни вправо. Вот я и подумал: если я собой загораживаю свет, то от меня падает тень, а если я вхожу в тень, то почему, скажи на милость, от меня свет не падает?

Володя ответил, что будь бы Нордет не Нордетом, а лампочкой, то и от него падал бы свет, а коли он не лампочка, а Нордет, то и света от него никакого быть не может.

— Ну тогда бес с ним, со светом. Лучше уж буду Нордетом, чем лампочкой, а то еще вкрутят куда-нибудь. С другой стороны точки зрения, откуда она, падла, тень эта, берется, из воздуха, что ли?

Михаил Трофимыч сел в кресло, покачался и, выплюнув самокрутку, вдруг закричал:

— Ах, мать честная, убогая, чуть не забыл! Ты настроичил мне песню?

С наличников сорвалось и улетело несколько слабонервных воробьев. В Лешошкино и Правощекино побежало шаловливое эхо. А Володя снова будто отогнал ладонью от лица клуб махорочного дыма и даже не отвлекся от дизеля. Нет, он еще не сочинил. Он работал над новой поэмой.

— Опять, что ли, про Любку? — уже тихо, с заметным разочарованием в голосе, спросил Михаил Трофимыч, слезая с кресла, — не спросил, а как бы подумал.

Пока это гробовая тайна. Но кто не слепой и не слабый, тому в одном из персонажей нетрудно будет кое-кого и угадать. Вот так вот. А песню, будь спокоен, Трофимыч, Володя напишет, да еще такую, что по радио станут передавать, и дело это не за горами.

Нордет, вращая туда-сюда «штурвалы», проверил работу ножей и остался ими доволен.

— Эх, Вальдебар, Вальдебар. Не мой, мать честная, ты сын, — Трофимыч взглянул на солнце и сплюнул. — Ваш же вон, левощекинский, морда эта рыжая, звать как не знаю... тот, что семь лет назад табличку пашу из рогатки разбил, в третьем годе ларек с папиросами грабил, а теперь, ануточка, на мотоцикле кур давит... знаешь такого?

Не знает такого Володя и знает не желает: нет такого. — Тот, парень, безо всяких — вшик! — и к Любке на сеновал, а она, сам себе соврать не дам, ему оттуда уж и губищи свои дудочкой тянет — как хочешь, так и целуй ее оттуда, с лестницы. Девка-то она, со стороны точки зрения, гарная, и тут, и тут, и там, наверно, везде нормально, ни одна кость без мяса не пронадаст, — и вдохнул глубоко Михаил Трофимыч. — Э-э-эй. А что я? Мое дело, хлопцев, соседское, в шель разве что зыркнись... Внжу да помалкиваю, отцу не сказываю. Сам бы где... та-та-та, ду-ду-ду... — понял Трофимыч, что лишнего болтнул.

Володя намотал на шкив пуссача кожаный, замасленный шнур — готов был дернуть, но задержался. На его побледневшем лице резко обозначились надавленные за долгую творческую ночь, воспаленные прыщи. Какие-то секунды — и решительный рывок. Выхлопная труба забилась в судорогах и выдавила первое, вроде как неуверенное в себе, колено дыма. Так все и произошло. Таким вот, наверное, и должно быть самообладание у настоящего поэта.

Помельче первого голубые кольца, словно нимбы, затребовавшие потерянными их ангелами, подались в небеса. И уверен я, что многие козыньковичи в это мгновение оторвались от своих завтраков, взглянули в окна и что-то подумали, а может быть, и сказали что-то. Но вот и все — ангелы расхватали по размерам своих голов нимбы, хватило на всех. Дымок потянулся столбиком, трубу-рожицу перестало трясти — дизель завется. И заработал он так ровно, так четко и красиво, что воробы на наличниках перестали чивкать, вороны ошалевшие — в ельнике галдеть, а Нордет Михаил Трофимыч от удовольствия сдвинул на затылок кепку-восьмиклину. Вот как заработал дизель — что и говорить.

И не успел еще весь иней превратиться в воду и сбежать с шиферных крыш, а трактор, запряженный в грейдер, уже вырulinвал, скрывая гусеницами по гальке, из гаража на дорогу, протяженностью в две деревенские улицы. Из трактора, облокотившись на открытое окно кабины, выглядывал

Володя, а Михаил Трофимыч, зажав во рту самокрутку, вращая «штурвал», готовился опустить ножи.

А вот как было заведено у них:

В период между авансом и получкой экипаж выезжает из дортоделовской ограды и поворачивает в сторону Правощекина, а между получкой и авансом — в сторону Ловощекина, проезжает туда-обратно одну деревню, затем — другую и возвращается в гараж. Если вам сообщить, что получка была сдана сего сентября, а аванс будет двадцать второго, то вы и без моей помощи догадаетесь, куда повернули трактор и грейдер тринадцатого числа сего месяца. Так и есть, сегодня — в понедельник, тринадцатого сентября, повернули они в сторону Ловощекина. Зная это правило, любой козыньковичий пероклассник, разбуженный среди ночи, сможет бойко предстать любой комиссии ответить, с полочки ли, с аванса гуляет нынче Нордет Михаил Трофимыч. Но это только тогда, когда трактор или грейдер, сломавшись, не стоят подолгу на ремонте, а Михаил Трофимыч и Володя целыми днями не пропадаю в гараже. Существует, разумеется, и на такой случай секретная договоренность (кстати, рассекреченная недавно козыньковскими продавцами): между получкой и авансом в магазин бегают Володя, а в другой промежуток — Михаил Трофимыч. И тут так: ругани между ними из-за этого еще не было.

Но вот и начался у всех козыньковичей трудовой день. Потянулись женщины в магазин, ученики — в школу, а мужчины — те по своим, конечно, делам. Устает Трофимыч поднимать в приветствии руку. Устает Трофимыч спрыгивать с грейдера, чтобы отогнать развалившуюся на дороге скотину. Устает Трофимыч снова вскарабкиваться на свое место и кричать Володе: «Айда-а-а!» Но ни тени огорчения в его маленьких бурых глазах. В его маленьких бурых глазах отражается маленький трактор с желтой кабиной и уж совсем малюсенький Володин берет, а также и вся Щучкореченская улица с ее домиками, бегающими по ней детьми, спящими без дела собаками, лежащими на ее дороге коровами и овцами, и кроме того, разумеется, отражаются в них бесконечные козыньковские дали. Снесил Михаил Трофимыч свои кирпичные сапоги с высоко поднятого железного, в дырочку, «трона», крутит «штурвал» туда-сюда и бормочет себе одно и то же: «Эх, Вальдебар, Вальдебар, эх».

Щучкореченская улица пряма, как ружейный ствол, гусеницы трактора одинаковой длины — идет трактор ровно, и не

приходится Володе без конца дергать то один рычаг, то другой. Ранним утром спокоен за напарника Володя, и назад он почти не оглядывается. На лобовом стекле кабины синей изоляционной лентой по углам приклеена фотография самой красивой девушки. И только покусывание губ может выдавать смятение в душе тракториста. Спокойно лежат на рычагах его руки, корректно работают с педальями его ноги. И будто само по себе приходит решение. Володя срывает ленту и прячет фотографию в ящик с инструментами. Дык-дык-дык, — работает дизель, звяк-звяк-звяк, — отвечают гусеницы.

Обогрело. Солнце припекло затылок и спину Михаила Трофимыча. Медленно перекачиваются колеса грейдера, медленно отваливается от ножа песчаный вал, плавно оседает на кепку-восмиклилку и плечи Михаила Трофимыча пыль. Уставился Михаил Трофимыч застывшими бурыми глазами под нож и вроде как видит дороги далекой родины под Черниговом, ведет вроде как его мама в школу и говорит: учишь, учишь, Михась, с портфелем будешь ходить, в кабинете с креслом сидеть будешь, — и тут же немецкий плен, освобождение и долгий путь из лагеря на Заале — мимо своего дома, который сожгли немцы, — на лесоповал, что развернулся по Щучкопеске и Пескощучке, куда сразу после войны и завербовался молодой Нордт с товарищами. Вот-дак-так, вот-дак-так, — слышит Михаил Трофимыч стук эшелонных колес, а рука его подсознательно ползет во внутренний карман пыльного пиджака. И никакой окрик, никакое астрономическое вмешательство — ничто на свете — не сможет остановить эту руку. Провидение ее командир, комиссар ее — Провидение. Из кармана, стянутого широкой, самим Трофимычем приспособленной резинкой, рука извлекает бутылку, запыленную жидкостью цвета слоновой хвост. «Уподобимся, товарищ Нордт», — говорит Михаил Трофимыч. И уроковые веки смыкаются. И железный, в дырочку, «трон» возносит плавно товарища Нордета к небесам, а затем плавно и бережно возвращает на землю. С одной стороны точки зрения, вроде как и причастился. С другой — хоть и наполовину как будто, но сбылась мамкина мечта о моей службе: без кабинета, но при кресле, — да и один хрен: курица не птица, слово не воробей. Эх, Вальдебар, Вальдебар, многого ты в жизни нехтершестей. Скрипят колеса грейдера, скрежетет о сталь ножа галька, стряхивает оставшаяся сзади рыжая, бесхвостая собака с себя пыль. Михаил Трофимыч отрывает от кресла правую ягоду, прикладывает к козырьку кепки руку в верхонке и отдает честь Лёвошекиной Александре Ефимовне. Возле покосившегося от лет домика, на лавочке, сидит старый,

кривой на левый глаз дед в валенках, с селой прокуренной бородой, свисающей до красного кушака на телогрейке.

— Евсеевич! — кричит ему Михаил Трофимыч. — Ты, небось, всю лавку-то уж продезинфицировал!

— Ась?! — негнушится пальцами заворачивает свос хрустящее ухо в сторону грейдера Лёвошекин Евсеевич Гордеч.

— Я говорю, — снова кричит ему грейдерист, — ты уж лавку-то всю провонял насквозь!

— Нет, — расслабившись, отвечает дед, — ногам-то ни хрена, а руки, тут уж правда, малость забнут!

— Ну и хрен с ними, пусть забнут, глухой тетерев! Смотри только не отморозь!

Слова, за домами, за телевизионными антеннами, за огородами, к Щучке плотной стеной спускается ельник. Сошную, темную зелень его хвон лишь кое-где разрывает густо зардевшая листва рябины или осины, чьи семена когда-то чудом каким-то, вероятно, занесло с противоположной стороны. Справа, прямо от изгородей, покатила к реке золотая лавина березовых крош, покатила, потекла, улыбаясь с собой малохитровые островки пихтача, бурля, словно пеной, сосновыми вершинами. И все это видит Михаил Трофимыч, и всему этому радуется его душа.

Доротделовский состав прогромычал по мосту через Щучку, развернулся на другом берегу и направился в обратную сторону. Солнце к этому времени поднялось так, что освещает всю северную полу Козьего Пула. Володя скрывается от него за шитком, а Михаил Трофимыч опускает на глаза козырек кепки. Мост позади, позади остался и пристроившийся вблизи от яра Володин дом. Не на него ли теперь так часто оглядывается тракторист? Нет, что-то другое беспокоит капитана экипажа. Михаил Трофимыч, скорее чувствуя, чем замечая его беспокойство, поднимает руку: будь спокоен, Вальдебар, на вышке полный порядок. Дык-дык-дык, — говорит дизель. Звяк-звяк-звяк, — отвечает гусеницы. И опять во власти Провидения рука Михаила Трофимыча. И опять высоко-высоко измывает его душа и уже не так охотно возвращается на место. Будь спокоен, Вальдебар Рождественский, карандашная твоя голова. И мы не лыком шиты, несом крты, ветром горюжены. Так точно, товарищ сержант! Хлеба накупили! Поросят будете кормить. С одной стороны точки зрения, дело это, конечно, не мудреное, с другой — вроде и не шуточное, но один хрен: курица не птица, слово не воробей, а вылетело — туда ему и дорога. А вы картошечку выкопали, Танся Егорыч?! Вот и слава богу. Богу слава, мне почет. Картошечки нет — и будто жрать нечего. А моя рота-пехота давным-давно отмаялась,

Хоть, мать честная, ртов семь, зато рук четырнадцать и ног... и ног не меньше. Я, девка, и в огороде не показывался. Из штаба только команду рывкнул да после мешки пересчитал. А зимой-то ее, голубушку, с редечкой да с кваском или с бражкой и в мундире безубому за милу душу. Деснами жамжамк. Приятный аппетит — нежевано летит. Ногой ему, безубому-то, туда знай уминай, не захочет, да съест. Ага, так точно, товарищ сержант! Расскажу вам о Норде-е-ете, как Нордет живет на све-е-ете... И так, что с кепки посыпалась пыль, а «штурвал» — до предела туда и до предела обратно, и «трон»: скрип-скрип. И, конечно, все лица в окнах левощекинской средней школы, как по приказу, от доски обратились к улице, а обратят их опять к доске — задача сложная. То же самое, разумеется, и не только в школе — и в магазине, и на почте. И, безусловно, во всех домах, где к этому времени кто-то еще оставался. И лишь в одном месте Михаил Трофимыч дернулся и прервал свою песню.

— Евсевий! — закричал он. — У тебя лавка уж дымом взылась! Весь Козий Пуп спалишь! Да не акай, не акай, один хрен нехтерфштейн! Сиди уж... тетерка твоя мать.

Возле ворот гаража Михаил Трофимыч кончил словами:

— Что за чушь, что за бред! Я не Гёте, я — Нордет! — замолчал, затем мотнул головой, страхнув с кепки остатки пыли, и голову опустил на «штурвал».

Володя остановил трактор, сбегал в гараж и вернулся оттуда с мотком алюминиевой проволоки, сплетенной вшестеро. Забравшись к грейдеристу на площадку, он опутал его вокруг талии и крепко-накрепко привязал к спинке кресла. Михаил Трофимыч поднял поникшую голову, разомкнул урюковые веки и, увидев суетившегося возле себя парня, забормотал:

— Мхом обрастешь, Вальдебар, плесенью покроешься, а ишиш когда дождешься, чтобы с неба гренки посыпалась. С неба, парень, одни камни падают, да и то только по старухам. Чудо мне показывай, весели, а жизни меня учить не надо, хлопцев. Сам, кого хочешь, научу. Сапогом в носопатку — и собирай звезды. А то, что ты делаешь, это правильно. Мастер если и появится, то со стороны Ловощекина, к конторе поднимется, вниз, зараза, глянь, пыль, скажет, столбом стоит? Стоит. Грейдер едет? Едет. А Трохмыч полкой на грейдере торчит? А как не торчит, торчит. А грейдер сам по себе ходит? Нет, скажет мастер, хоть и пень пнем, грейдер, скажет, не лошадь — сам по себе не ходит. Трактор, значит, впереди шурует. А кто в тракторе? Ну, не чуело же огородное, не брянский же волк. Кто, кроме Вальдебара! Все, скажет этот пим дыравый, на дистанции у меня полный порядок. Скажет и

дыркой свись. А ты, Вальдебарушка, мне и руки к штурвалу примотай, как японскому самолетчику. Нордетиха в окно выняжится? Тут уж, парень, и к бабке ходить не надо. Спросит у деток: руки у хозяина на месте? На месте. Значит, и голова на месте. Выходит, у Нордета полный порядок и на вышке и вокруг нее. Покрепче, крепче их, чтобы они из верхонок не выпали. Не бойся, не жалея — затягивай. И ноги... потуже. Мы к этому привычны. Праху — прах... Концы-то... во-во-о... понадежней, чтобы коршуи меня не унес, чтобы никакой ураган не выдул товарища Нордета из его кабинета... Войне — война-а-а, а Нордету — чан вина-а-а... да поградушной, аж в жилах чтобы гудела-а-а, — уже искажая авторский текст, зашел Михаил Трофимыч.

Убедившись в надежности сделанного, Володя спрыгнул с грейдера и сел в трактор. Выжал сцепление, включил передачу. Дизель: дык-дык-дык, гусеницы: звяк-звяк-звяк, — а Володя:

— Го-о-оре-го-о-орькое по-о свету шлядося-а-а... Лепешка коровья, а не Трохмыч, — потрогал пальцем на лбу самый большой, самый яркий, самый воспалившийся прыщ, затем открыл крышку ящичка с инструментами и, не пугаясь своей любви, посмотрел на фото. И только сияния не было вокруг протрга, но это средь бела дня, а ночью, в темноте — кто знает? — может, и засветился бы. Володя опустил крышку, положил руку на рычаг, а взгляд устремил вперед, туда, где скоро покажутся зеленые наливники и зеленый палисадник.

А солнце поднималось все выше и выше, прогретая чистый козлепуповский воздух. Тени от домов и скворечников, разворачиваясь посолонь, становились короче. Вдоль дороги то там, то здесь расхаживали, переваливаясь с боку на бок, гуси и утки. Купались в земле, вороша ее лапами, грязноклювые куры. Осторожно ступая на листья подорожника и прокрадываясь средь засыхающих стеблей пастушьей сумки, охотились на воробьев и плишек — местных трясогузок — кошки. На заборах и поленицах — подальше от собак — дрыхли разомлевшие коты, изредка открывая то один глаз, то другой и скептически поглядывая на охотниц. Черный, с обрубленным по самый корень хвостом, пес, оставшийся позади грейдера, брезгливо стряхивал с себя пыль. И мимо всего этого в грохоте и полудреме проезжал Михаил Трофимыч, бесценный грейдерист передовой дистанции № 2.

— А ничё... еще кому угодно свечку вставлю, кому угодно еще бока наму. А мало покажется, так шмякну, что мамку не признает. В детстве, когда конь из сил выбивался, батяка на мне борону таскал — и не жаловался. Будь спокоен, хлопцев,

я месяца два до пенсии докапалась, а там... меня, товарищ следователь, в дураках оставить трудно: где хохол пролез, там кое-кому делать нечего. Правда, один хрен: курица не птица, слово не воробей, а воробей, тот — падала, тот и ходить толком не может — скачет, будто из земли его током бьет. Вот так вот. Фанеру раздобуду, моторчик у Нордетихи из стиральной машины выдеру, к моторчику пропеллер присобачу и с аэроплана по воронам буду палить да на ваши головы... — заерзал по креслу Михаил Трофимыч. — Так точно, товарищ сержант! Кашину гороховую, начальник, кушать надо, а не хочешь, тогда кушину кашей...

Михаил Трофимыч то умолкал, то возобновлял монолог, его бурные глазки, незряче блуждая, то открывались, то пеленались в урюковые веки. И только однажды проснулся он, вскинул голову и уставился на сидящего возле дома на чурке старика.

— Евсевий! — заголосил Михаил Трофимыч. — Руки не забнут?

Глухой от старости, кривой на правый глаз Правощекин Евсевий Лукьянович, зная Нордета около тридцати лет и будучи уверенным, что тот, как и всякий раз, ничего, кроме дурного, сказать не может, вместо ответа собрал все, что подвернулось в его просторном, разношенном носу, и вместе с табачными крошками выплюнул в сторону грейдера. Плонул и удовлетворенно улыбулся в седые, прокуренные усы, не запоздив даже, что ответ его залетел в его же валенок.

— Га-га-га, кхе-кхе. Чуть, небось, не попал, а попал бы, так долго харю-то свою погану обмывал бы, шанок.

А Михаил Трофимыч уже кемарил и ехал дальше.

Но вот и видны, прямо как на ладони, перила моста, соединившего два берега Пески. И все ближе заветные зеленые наличники и зеленый палисадник. Володя приоткрыл ящичек, вынул из него фотографию, расправил завернувшиеся концы изоляционной ленты и закрепил снимок на прежнем месте. Губы его двигались, как в молитве, а выражение лица его было таким, что не оставалось сомнения: дух, витающий в тесной и душной кабине трактора, — дух нарождающегося шедевра. И лично мне нетрудно догадаться, кому он будет посвящен... но тише!

— Как просто: Любочка, Любовь, но как играет в жилах кровь и... и... не первый раз, а вновь и вновь я говорю: это — любовь... я говорю себе: любовь... все говорят: ну и лю... нух говорит... э-э... — Володя прикрыл глаза. — Как просто: Любочка, Любовь, но — да-да-да-да в жилах кровь, и в сердце бабочкой любовь... — Володя разомкнул веки, нежно посмо-

трел на портрет. И портрет ему ответил тем же. — То парх, то выпарх вновь и вновь! О, силы необыкновенные.

Выскочил на дорогу, прямо перед трактором, коричневый теленок и пустился наутек, подпрыгивая, лягая воздух, выгибая хребет и пружиня хвост, едва не ломающийся от напряжения. И знает Володя, сердцем поэта чувствует, что истинного предостережения, непростительного и непонятного нечего в поведении этого коричневого мальчика. Взял — не спростился — и вошел в его пустенькую телятью голову стих, да ведь, господи, твоя воля, не может же теленок при этом схватить карандаш и записать его или встать в позу и промывать: как прехра-а-а-асен этот мир, посмотри-ы-ы! Знает поэт об этом и говорит, выгибаясь от всепонимания:

— Эх, ты, егюза. Козявка козявкой, а туда же, в глубины. Ага, вот и они, милые.

Да, вот и они, желанные наличники и палисадник. С какой истомой порой вливаемся мы глазами в точку на глобусе или на карте, точку, которой помечено то место, где, как нам известно, в данное время находится в печали без нас наша возлюбленная. Мы в исступлении мечтаем о несбыточном, чтобы точка эта чудом каким-то стала вдруг увеличиваться: вот виден уже и тот дом, вот и окно различимо. И стены вдруг для нас прозрачны. И, успокой наше сердце, господи, — вот тот уголок, где сидит она, важет или перецитывает наши письма, а сама, то и дело поглядывая на наш портрет в изголовье, не успевает смахивать с ресниц набегающие слезы или, забывшись, размазывает их по лицу. А тут же! тут-то, а! — вот они: и наличники, и палисад — можно припасть и облобызывать. Даже стекла окна, за которым покоится ее кровать, сотрясаются от проезжающего трактора, играют солнечными бликами и травят своей посвященностью в такие тайны, какие вам и не снились. И дом — то сам совсем не такой, как все остальные дома в Правощекине, и в Левощекине, и во всем мире, дом словно магнитный. И шаг — кетник уж очень ровный и зеленый. И березки в палисаднике, конечно, одушевленные: и нашептывают, и наговаривают есенинские стихи. А какая девушка сидит под зеленым наличником на зеленой скамеечке. Индийские джинсы. Белые, как мохоло, на толстой пробковой подошве и высоким каблук, босоножки. Красная, как кровь, мохеровая кофточка. И, словно вызов самому небесному куполу, на соломенных кудряшках голубая мохеровая шапочка. Карие глаза. И не так-то просто — два золотых зуба, гармонирующих с золотой осенью. Улыбка — и зашлись в шелесте желтые листья березок, и замутились в очах свет. А рядом с девушкой — юноша, и не юноша,

роге в рай. А если и туда, если даже и в другую сторону, один хрен не торопись, не сделай так, чтобы потом над тобой люди потешались. Не спеши, подумай как следует на трезвую голову. А была ли она у тебя трезвая? Была. Скворцы, по крайней мере, в чердаке не летают, не шкварбикают, до скворцов не дошло. Трофимыч осторожно подвигал ушами и кожей на темени. Разговору о твоей близкой смерти не было? Не помню. Разве что... да нет, только о пенсии. А какой нынче день? Если это нынче, то пошедельник. Рабочий день... да еще какой рабочий. Ты спишь? Трофимыч? Э-эй. Нет, однако, не сплю. А как заканчивается твой рабочий день, падала? Сегодня грейдерил, значит, как обычно: появляется откуда-то баба, набегает откуда же детки, сначала орут и режут, потом отмазывают, садают на тележку и увозят. Потом... потом — потолок и лампочка... Так точно, това... Шить, Трофимыч, не забывайся, прошу тебя, гад, шалава. Шаг влево, шаг вправо — и яма, ходить надо аккуратней. Знаю я эти грушники. Ох, суки. Не дрожи, не лягай зубами — не пес шелудивый. Мать честная, убогая, не могу не лязгать, если... Вспоминай, Трофимыч, натужь свои мозги. Если это рай, то — господи, прости — пропал он пропалом. Если это другое место, то ладно, хрен с ним, на сквороде пока не жарят. А если это мой шенки со своей старой... мамой... В моем доме такой посулили? Михаил Трофимыч в злобе сжал пальцы. Ага. Служу? Служу. Штурвал на месте? На месте. Значит, и я на месте. А с грейдером меня даже в тарасовский ушат — в штаны наложись, но не помстишь. Да и Тарас скорее рубашку последнюю пропьет, чем ушат свой кому на минуту даст. Значит, шенков моих еще не было? Нет. Ноги бы ему выдергать, этому стиходу. И ни туда и ни сюда, ну и привязал, холера, будто кастрировать меня собрался. Ну, а?.. Думай, думай, товарищ Нордет. Не могу думать, товарищ гражданин. Почему, такой-растакой-вот-этакой? Холод собачий потому что. Я на лесославе так не мерз. Мамка, да неужто снова! Окстись, господи Нордетуус. С хрена ли снова. Раз поработал и хватит. Тогда думай, гамно, если не знаешь, где ты и за что. Там-то ты хоть знал где — сам завербовался. О-ох. Михаил Трофимыч резко, стараясь при этом не шелхнуться, напрягся. Будь оно, ну, проклято. Может, в каком культурном месте? Осрамишься еще. У-у-у... так и до греха недалеко. Расслабившись, Трофимыч провет пальцами ног по размякшим, скользким стелкам сапог. От холода ломило голени и быстро выходил хмель. Придумал. Приду-у-умал. И попробовал шевелить бровями и носом, пытаясь сдвинуть с глаз кепку... но безуспешно, что локоть уку-

а истый дьявол-искуситель. Одна рука его на индийских джинсах, другая — на мохеровой кофточке. И рыжая, как латунный чайник, голова с девушки глаз не сводит. Так, мельком взгляни — и тебе станет ясно, что власть девушки над искусителем границ не имеет. Стоит ей усмехнуться — смеется он, насупится вярт она — он руки провь с индийских джинсов и мохеровой кофточки. А из открытого окна «Песняры» про вологодский палисад... И сентябрь. И серебранные паутинки в небе. И томление в воздухе. И... Так все и было.

Лязнул резко шкворень. Смачно ругнулась под ножом грейдера галка. Трофимыч, тот даже и не проснулся, когда грейдер дернуло и повлекло под яр к Песке. Трактор въехал на мост, круто дал влево и, сбив перила, окнулся в воду. Грейдер, разумеется, последовал за ним. В цилиндры попала вода, дизель почкал, почкал, захлебнулся и заглох, так что, не дотянув до берега метров семь, трактор остановился. Открыв наполовину скрытую водой дверцу, из кабины выбрался тракторист, спустился в реку, подняв руки, проворно добрал до берега и канул в прибрежном тальнике. А вниз по течению ульывали успешно обломки перил и всплывшая со дня муть. Ближе к правому берегу из воды торчала выхлопная труба, над которой еще курился дымок, за трубой выглядывала желтая крыша кабины, а на середине реки как-то уж совсем нелепо — голова Михаила Трофимыча. От толчка кепка-восьмипилника съехала на нос, и из-под козырька виднелись только рот и приподнятый над водой подбородок грейдериста.

Михаил Трофимыч хоть и не из коренных жителей Козьего Пула, но за тридцать лет жизни на этом славном острове и он успел заразиться козьепуновской осторожностью, чем, пожалуй, если только не глубоким сном, и можно было объяснить то, что голова его долгое время оставалась безмолвной и неподвижной, поневоле напоминая один из сюжетов сказок Пушкина, иллюстрированных, к примеру, рукою Дали. И несмотря на тепло сентябрьского дня и ласковое небо, холодом дохнуло от этой картины. И... Так все и было.

Тихо. Холодно. Мокро. Михаил Трофимыч поморгал, почувствовал, как ресницы касаются кепочной ткани, и услышал производимый ими при этом шорох. Закрыв глаза — ощутил зрачками веки, открыл — сплзу слабый свет. Нет, это не дрыхну. Трофимыч. Да, я — Трофимыч. Раз. Два. Три. Вздох. Выдох. Открыл — закрыл. Вот, мать честная. Влево, вправо. Влево, вправо. Язык — угу. Зубы — угу. Десны. Михаил Трофимыч медленно потянул сырой воздух. Чан? Нет, мазурник, не чан. Випом здесь и не пахнет. Не торопись, Нордет, не на до-

силь. Кепка села крепко, — подумал Михаил Трофимыч и добавил мысленно: сучка. Не сучка. Не волнуясь, Трохымыч, хрен с ней, с кепкой. Один черт сообразим. На кой же тебе тогда эта, на которой ты восьмиклинку носишь! Придумал. Шаг влево, шаг вправо — и в яме, потому что ходить, Нордет, не умеешь. Возьму вот и крикну. Но помешал ком в горле. И только шелоп:

— Вальдебар, — и лишь едва заметно волны от его морщинистой и инеем будто хваченной шеи.

Кричи, Трохымыч. Не сидеть же тебе в этой лохани. Ты же не водяной царь и не лягуша. Ты — грейдерист, мать честная. Твоя фотография не сядна завтра...

— Володька! — и понеслось это по Песке.

А по берегу, шурша галькой, уже бежали девушка в красной, как кровь, мохеровой кофточке, юноша с рыжей, как латунный чайник, головой, Нордетиха и Нордетята. И скоро ноги их гулко и вразнобой забухали по настилу моста. В щели между бревнами посыпались и зашлепали по воде мелкие камешки. «Тятя! Тятенька-а!» — кричали Нордетята. Задыхаясь от одышки и перепугу, что-то бормотала Нордетиха. А юноша и девушка бежали молча, только подолгами туфель и босоножек делая так: жич, жич, жач, жач.

Хорошо слышно. Может, отгадывается так? Ну я все равно, если я и не совсем та-ам, то где-то рядом. Детки мои орут, будто оголодали.

— Михайла-а! — словно освободившись вдруг от кляна, запричитала Нордетиха. — Кто же тебя?! Да что ж это за такое-то, господи! Не одно, так другое! Не в уборную свалится, так в яму, не в яму, так еще что-нибудь. Михайла! Да жив ли он, батюшки мои?!

Баба... баба моя тут же где-то квохчет. Голосистая какая. Как Геббельс. В жизнь бы не подумал, что она так сифонить может. А что, спрашивается, орет, будто я от них дальше, чем они от меня?

— Мишенька! Живой ли ты?! Это же я, Скворушка, — Нордетиха!

Совсем очумела. Думает, день не видел, дак уж и забыть ее успел. Тебя, лихорадка, и после смерти полгода, наверно, будешь помнить. Пава, ядрена вошь.

— Узнал я тебя, не вой. Лучше кепку с меняними, дура, — сказал Михаил Трофимыч и, подумав, добавил:

— Если слышишь.

— Слава тебе господи... живой, — Нордетиха будто обмякла, стала еще будто ниже ростом. Засуетилась: — Час, час. Как же я тебе сниму ее, Скворешник ты проклятый!?

— У тебя что, руки за день отсохли? Возьми да и снимай. Я ж не прошу, мать честная, мне новую сшить. Сама гордая, дак ребятишек заставь. А ребятишки ка-а-а-а! — передразнил Михаил Трофимыч. — Мордой об косяк. Ответьте мне тогда: где я, за что и кем посажен?

— Ребятишки, бегите-ка хоть за шестом каким, что ли. Вода-то как лед иди, багюшки мои. Где ты! Здесь, лихорадошный!

— Я и без тебя знаю, что здесь, а где это, твое здесь?!

— Да как же это где, — не соображая от злости и горя, отвечала Нордетиха. — Ты что, сам не знаешь, обалдуй?!

— Знал бы, тебя бы, дуру, не спрашивал. Если есть там кто поумнее, объясните мне, пожалуйста, где я, сколько мне еще там сидеть и за что надо мной, над грейдеристом, такое надругательство?! От холода можно спянуть.

— В речке ты, дядя Миша. Скоро тебя оттуда выташат. Ты только сиди и не волнуйся. Уже побежали, — объяснила девушка, смахивая с соломенных кудряшек голубую мохеровую шапочку. Волосы рассыпались по плечам девушки, студентки четвертого курса Бородавчанского педагогического училища, рассыпались золотыми кольцами по красному мохеру кофты, что было к лицу девушке.

Тоже, видно, умишком-то не больно богата. Любка, наверно, тарасовская, поэмовная краля. Учительницей только и работать, больше ни на что толку не хватит. Сиди и не волнуйся. Дилерерин, мать честная. Посмотрел бы я на тебя... Колокольчики уж, как льдинки, позвякивают, и руки не освободить. Пьяные они там все, что ли? Витька-то там, нет ли?

— Витька!

— Чё-о... хм... т-т-т-тенька?

— Почему твой родитель в речке?

— Н-не знаю, т-т-т-тенька-а.

— А чего ты реवेशь-то, как по покойнику? А? Да ты не бойся, не бойся, отец тебя просто так лупить не станет. За что мне тебя лупить? Не знаешь — почему, тогда скажи, кто завез меня в эту речку, кто это так выколутился? И где Володька? Помолчи, дура! Пусть мне Витька скажет.

— В-володька з-завез тебя, упал с моста и у-у-убежал. — Он что, ездить разучился, гамнюк! Или с головой чтостряслось? Суккин сын. А трактор где? Молчи! Я тебе сказал, молчи! Придем домой, я тебе покажу, как со мной на людях разговаривать надо, если забыла... Слова не дает сказать, тараторка. Трактор где, Витька?

— С-с то-бо-бой р-рядом.

Рядом со мной. Ну, видно, последний керосин в голове у этого стихоплета кончился, теперь и на поэму не хватит.

Жич, жич, жич, жич, жач, жач, — говорил береговой каменщик, и гулко под мостом отдавались шаги. Слышались новые голоса. Из деревьев подбегал народ. Кто-то спрашивал, кто-то отвечал, кто-то что-то советовал, а большинство просто охало и ахало. Михаил Трофимыч узнавал по голосам людей и посылал в их адрес матерное. Дрожь неожиданно прекратилась, а перетянутые проволокой кисти рук уже занемели и не чувствовались. Заложило в носу, и дышать Михаилу Трофимычу приходилось ртом: а-о, х-хао, а-ао, х-хао. На темный козырек кепки, как на экран, вынесло вдруг из памяти далекое прошлое.

Октябрь сорок седьмого года. Зеленая вода Шучкопески и пожухлая, хваченная первыми морозами прибрежная трава. Не завтра, так послезавтра по Шучкопеске можно будет кататься на коньках. В устье реки, где находилась усть-шучкопесковский шпалозавод, нужно было срочно сплавить последние штабеля леса. Огромный хлыст — ствол старой лиственницы — вершиной и комлем зацепился за два торчащих из воды в десяти-двенадцати метрах от берегов стояка и перегородил реку. В заторе километра на полтора, до верхнего кривуна, накопились будущие горбыли и шпалы. И чтобы сплавить их, необходимо было перерубить этот хлыст. И вот уже ловко скачет по обледеневшим бревнам худенький, длинный, неуклюжий на ходу Коля, Харченко Коля. В сорок пятом году завербовавшийся на лесоповал, сосед Михаила Трофимыча по нарам скачет и размахивает для балансировки топором. И развязавшиеся тесемочки шапки-ушанки вверх-вниз, вверх-вниз. А с яра, замерев среди сухих дудок пучки и отжившего белоголовника, смотрят на него десятки глаз бывших солдат, бывших офицеров, завербовавшихся на заработки. И плохо входит топор в обледеневшее, крепкое само по себе дерево. Взмах — хек! Взмах — кха! А с сосен и пихт вороны в разные стороны: кар-р, кар-р. Страмовки. Звучно уж очень раздается и далеко разбегается, ушибаясь о звонкие от мороза стволы корабельных сосен, по октябрьской тайге передразнивающее топор эхо: эх-ка, эх-ка! Недорубленное дерево под напором не выдержало, треснуло. И пошли. Медленно, мощно пошли будущие горбыли и шпалы. Не выпуская из рук топора, побегав паренек к берегу. И берег близко. Вот он уж. Но провернул лесные скользкие лесины, и лишь руками за них успел зацепиться Коля. И только кажется, что медленно ползет по реке деревянная масса, бывшие солдаты и офицеры не успевают бежать

за ней по глинистому берегу: стертые, сглажены подошвы кирзовых сапог — вместо коньков. Нем Коля, и по берегу бегут не безмолвны. И только сердца: тах, тах, тах. И только карканье воронье. До следующего поворота бежали за ним бывшие солдаты и офицеры. И только стон, туда, в небо. И дальше только шапка-ушанка на молчаливом обледеневшем бревне. А когда лес пронесло, выбагрили Колино тело. И не было у него целого ребра. А пока несли его в барак, покрылось оно твердой корочкой льда. В бараке негде, в бараке тесно живым. Наломали пихтовых веток, постелили и уложили Колю в дровеннике. Выдолбили могилу, смастерили гроб из пихты, пришли за Колей, а он лежит в ледяном костюме и в пихтовой постели, улыбаются голыми розовыми зубами и смотрит в дырявую крышу пустыми глазами. А в открытую дверь и в узенькое слуховое окошечко, молча, испуганные воронья. И потерянный ими пух оседает плавно. Ни близких у Коли, ни родных, а теперь вот и Коли будто нет — вывелась династия. Только где-то в уже вырубленном и затянутом осинником бору, среди глубоких колеи, пней и куч трупных сучьев, в Сибири, виднеется еще, наверное, холмик с нелетевшим крестом. Вспомнилось это, и передернулся всем телом Михаил Трофимыч.

Кто-то из мужиков дотянулся шестом и спихнул с его головы кепку. Кепка плюхнулась в воду, покрыжился, как пчела в танце, и стала медленно отплывать. Шестом ослепленный, шуря глаза и ничего не видя, Михаил Трофимыч повернул голову к мосту лицом и крикнул:

— Витька, сбегай до кривуна, поймай ес!

Обвыкнув глазами, Михаил Трофимыч поглядывал на парод и рассеянно слушал разговоры. Женщины ругались на мужиков, заставляя их что-нибудь придумать — не стоять же так, не сидеть же Нордегу тут до ночи. Мужики негромко отвечали им, что, дескать, нужен бульдозер, а бульдозер, как па трех, на ремонт, простых тракторов потребует не менее трех, это уж точно. Можно, конечно, — говорили мужики, — нырнуть, шкворень вытащить и отцепить грейдер от трактора, а потом веревкой, но ведь не вытянешь такую махину, да к тому же колеса песком замыло. Ну и мужики пошли, вы что, уж и плавать у нас разучились или холодной воды испугались? — попробовать-то можно. Вот и попробуйте, плывите сами, два дурака будут каждый день в речку брыкаться, а мы их от туда вызволяй. Ну, а с лодки-то? — лодки-то есть же. Лодки-то, конечно, есть, ну а с лодки-то чё? — руками не дотянешься, вон, у него только голова наруже. Нордегиha, сидящая в окру-

женин Нордетят и сочувствующих женщин, уже ни на кого с надеждой не смотрела, тихо плакала и без конца повторяла, обращаясь к стриженному затылку мужа: Скворешник, пьяница несчастный... всегда же говорила тебе, Скворушка окаянный: берись воды.

И мало кто видел, как юноша передавал девушке в красной мохеровой кофточке часы, рубашку и брюки, а когда он спустился с моста в воду и поплыл в сторону заключенного в ней Нордета, по берегам Пески пронесся мощный народный возглас: «О-охх!» — так, что загудел чистый козлепуловский воздух.

— Нет, рыжий, — говорил вертевшемуся возле него юноше Михаил Трофимыч. — Тут, парень, водолаз нужен. Без водолаза здесь ни шиша не сделаешь. Или кусачки охрененные, хлопсц. Там в шесть жил и за станнну привязано на совесть, если как всегда.

И немного позже, выбравшись на мост, посниев от холода ключевой воды и объясняя народу, как там и что, юноша брал из рук девушки одежду и спешно, путаясь, натягивал ее на себя.

— Суки, поглазеть собрались. Глазайте, денег не беру. Вас бы сюда — вот бы полюбовался. Тракторов найти не могут. Гады. Гады. Вороны. Чмо поганое. Разгалделись, как над падалью. Сами бы уже давно вытащили скопом... одними языками... Коля, мальчишка ты недоношенный. Вмерзал бы он, этот лес, к такой-то маме. Мало его на дне да в лесу погнило.

А на мосту уже негде было камню упасть. Люди толпились по берегам. Из Правощекина, как думал Михаил Трофимыч, здесь были почти все, кто мог еще «ползаты», а тех, кто не мог, привезли на мотоциклах внуки или правнуки. Был здесь и Левощекин Евсвий Гордеч, был тут и его тезка из Правощекина. Маячил тут и левощекинский Вася-дурачок, подошла сюда и Катька-дурочка из Правощекина, чей домик стоит недалеко от доротдела, домик, в который иногда, захватив на сдачу дешёвеньких конфет, темным вечером забредал Михаил Трофимыч долететь грустный вариант песни. Вася никому не мешал — сидел на яру, болтал ногами и, пуская длинную слюну, жевал с хлебом кем-то подаренный ему милосердно соленый огурец. А Катька подступала к каждому, дергала за рукав, пристально вглядывалась в глаза и, указывая на Васю, твердила: сел на пенек, съел пирожок — и Васька не чешись, а? Люди не обращали на нее внимания — привыкли.

Сяра, запыхавшись, сбежала Левощекина Александра Ефи-

мюша. Сначала, растолкав столпившихся на берегу и взглянув на неподвижную голову Михаила Трофимыча, она шепотом спросила у ближайшей к ней женщины: жив? — и, узнав, что жив, дала себе волю:

— А у нас-то чё, девки! В Щучку же с моста машина брякнулась. Чё ж это такое-то, а? Чё это за бряканье напало? Будто накланка кто. Да ведь пьют же не стихают. Мастер пиний, доротделовский, Октябрьин, или как его там, шофер — малышка молоденький и Тарас Правощекин, Анкудинныч-то. Кю из его родных тут, нет? Сказать бы надо. Только колеса и видно. Все, слава тебе господи, живы, только поросенок утон, и выплыл. Тарас поросенка в городе купил, а эти на машине по дороге его и подобрали. Знал бы, говорит, дак не сел. Да что, пословина-то: знал бы, где упадешь, соломы бы подложил. Ну и... без этого дела где же, как же они без водочки-то, без водочки они и до ветру не высокнут. Мой тоже еле тепленький и лес ушел, с медведем еще подерется. Ну и... а перед моментом колдобина. В колдобину-то ать, а поросенок на руль и в реку. Перил на мосту будто отродясь не бывало.

— Поросенок, девка, в реку?
— Да пашто поросенок-то, поросенок на руль, а машина в реку.

— Да ты чё говоришь!

— То и говорю. Только что оттуда. Генка на мотоцикле подбросил. И туда спалкал, и сюда вот успели.

— Всё хоть слава богу, Лекаандра? Живы?

— Да ты глуха, чё ли? Живы. Только поросенок, говорю, утон. А Тарас плавать-то не умет, дак до сих пор на колесе и сидит.

— А чё сидит-то?

— Да ты пашто така-то! Плавать, говорят ей, не умет.

— Хоть иди туда, девки...

— Час-то уж не ходи. Тут ведь вот еще...

— Лекаандра, дак я не пойму, кто за рулем-то ехал? Человек или поросенок?

— Ну беда с тобой... Да, — говорит Александра Ефимовна, — вот водка-то до чего доводит.

— Да, — говорит бабы, — от водки-то все и горе.

Коля, беги, прыгай, салага. Еще малость. Давай, давай, хлопсц! И Коля бежит. В одной руке его топор, другая — в сто-рону. И тесемочки шапки вверх-вниз, вверх-вниз. И под ногами Михаила Трофимыча хрустит подмороженная трава, грудь Михаила Трофимыча распирает студеный воздух, и скользят его сапоги по глине... Ну, еще немного, чуть-чуть, ну, трошки,

ну, вот... вот... ах, мать честная! Ну, снова, начини, хлопцев, снова. Бревно, другое, третье... помни, где как. Не оглядываясь на меня и не скалься. И бежит снова Коля, оглядываясь и улыбаясь Нордету: примет соседу. Не скалься, щенок, ты же не на клубной сцене, а жизнь не частушка — заново не пропой. Третье, четвертое... Ну, не будь же горшком... Пятое, шестое. Седьмое... Дур-р-рак-к! И заплакал Михаил Трофимович.

И замушел народ, запричитали бабы. И кто-то, кто ближе жил, бросился за веревками, кого-то опирали за лодкой. Засуетились, задвигались мужики. А Катька-дурочка пристала к Васе-дурачку, тянет его за воротник вельветовой куртки, крутит пальцем у виска и маячит о чем-то, кивая на голову Михаила Трофимовича. Ежился Вася, ежился, но все же отложил хлеб и остаток огурца, накрыл их листом растущего возле лопуха и, взглянув подозрительно на Катьку, а затем на захороненные продукты, съехал на заднице с яра. Протиснувшись Вася в толпе, зашел выше моста, скатил с берега завалившееся там бревно, забрел в воду, оплелся ногами в разноцветных ботинках, оседлал бревно и поплыл, отгребаясь ладошками. Не знает, куда смотреть, народ, что делать, не знает. Быстро затянуло Васю с его суденышком под мост. Выпесло с другой стороны — а Васи нет. Только ботинки крест-накрест вверх подошвами. Успели, зацепили шестом бревно, подтянули к берегу и перевернули: сидит Вася с зажмуренными глазами и плотно запертыми ноздрями — упрятал в них пальцы указательные. А с яра с шумом, свистом несутся пацаны и кричат, что идут трактора, и не три, а целых семь. И мужики на лодках плывут. И кто-то веревки принес. Но ничего не слышит Михаил Трофимович. В ушах его хруст пожухлой травы, подошвы остывающих ног скользят по размякшим стелькам — бежит Михаил Трофимович по глине, в глазах его маленькими светящимися точками снег пошел, а затем повалил хлопьями.

Коля, брось топор, хрен с пей, с железкой, отчитаеся, у меня где-то заначен один. Беги к берегу. Давай. И бежит Коля, не бросив топора, но опять проворачиваются бревна. И не удержать их Михаилу Трофимовичу, не справиться с ними. Застылает глаза снег... Снова, Коля, снова... Но никого, только шапка-ушанка, как на прилавке, на будущей шпале вниз по Щучкопеске... Коля, Колька-а! Харченко! Нет, не беги, придурок, не беги в такой снегопад. Ухватись за сток. Я тебя сниму, я тебя вытану. Брось топор. Ухватись, вцепись обеими руками, ногтями впейся, зубами вгрызись... Проворачиваются большие, большие, огромные хлысты. И только стружки летят, и только запах сосновых досок. И только про-

стенный гроб, и только простенный крест... налетает из проилого, бьет по глазам... Окунает Михаил Трофимович свою седую голову в воду... Ползя, дурак, ползи, недоносек. Ползко-о-ом! А что это за гром, что это за звук такой?.. И снова снег маленькими светящимися точками, хлопьями... Да то не снег, то вороньи перья, пух вороний. Вон они, страмовки, голенькие в небе олуктся,меньшуются. Кто же это догадался, кто ощипал их? Это сердце: тах, тах, тах... тах, тах... тах... Да протаяли ты руку, синими ты его с бревен!

И засуетились люди, замельтешили, как муравьи возле муравейника. И вступили в воду, как при крещении.

Рванулся Михаил Трофимович, словно там, за спиной, страшное что увидел, откинулась его белая голова назад, и уставились его бурые глазки в синеву козлепуловского неба. И сбывлась вынесенная из детства мечта: под самое облачко взмыл он на фанерном аэроплане с грейдерским «штурвалом» и «троном» грейдерским, мертвую петлю выкинул. И еще повторил бы. И еще... Но не выдержал нагрузки, отказал износившийся мотор старой стиральной машины. Спокойно, от всего отрезавшись, едва-едва — то ли поднимаясь, то ли опускаясь — планирует над островом в струе прозрачного воздуха деревянная птица. Несет она пассажира своего сквозь застывший путь вороний пух, и медленно-медленно сентябрьский день перестает быть светлым, вода — холодной, а небо...

Ага, лалекко, страмовки, на Черинговщину: мамка портфель мне купила.

И уж бегут там, внизу, задрав головы и взбивая босыми ногами дорожную пыль, ребятишки, и кричат ребятишки щербатыми ртами:

Эраплан, эраплан, посади меня в карзан!
А в кармане пусто — выросла капуста!

А когда аэроплан пробежал по траве и замер, когда пилот снял краги и кепку-восемиклинку и бросил их в кабину, вокруг него уже собрались все жители села Цыбулихи. И первым признал пилота старый Остап Цыбуля.

— Так то ж, хлопцы, — сказал Цыбуля, — сынок товарища моего, Трохыма. Глянь-ка, Аксинья, парень твой с неба свалился, — сказал так Остап Цыбуля и отер с лица выкатившиеся из белесых глаз слезы.

И выходит из хаты с черным, блестящим портфелем мать.

— Да буде, буде, мамка, — говорит ей Михаил Трофимович, — буде пыльного-то целовать. Давайте лучше праздник праздновать, встретились справлять.

Неторопливое описание пятнадцати дней из жизни маршалов императора Наполеона I

2 декабря 1805 года. Аустерлиц.
По дороге на поле сражения

По дороге на поле сражения под Аустерлицем император Наполеон I обратил внимание маршалов Бессьера и Бернадота на луг, где росло много цветов: тюльпанов, полевых гвоздик и ромашек, а когда позже император вошел в свою палатку и увидел красивый кувшин с цветами, он надолго задумался.

14 октября 1806 года. Ауэрштадт.
Во время боя

Император надолго задумался о том, что уменьше действовать в сложной обстановке проверяется в боевых условиях. В бою под Ауэрштадтом возникло много трудностей, о которых император раньше и не помышлял. Внезапно пошел холодный дождь, а потом разыгралась пурга. И во время этой непогоды, оказавшись в самом пекле боя, маршал Даву был ранен в спину, руку и обе ноги. Обстановка сложилась так, что в пекле боя оказался не только маршал Даву, но и много солдат, пять из которых — три француза и два неаполитанца — мгновенно подхватили маршала и вынесли его с поля боя. Маршал был в полном сознании и слышал голоса то одного, то другого солдата: «Быстрее, быстрее!» Солдаты сами себя потирали, и никто словом не обмолвился о хотя бы небольшой передышке. Так примерные солдаты старались выполнить свой служебный долг.

5 января 1807 года. Восточная Пруссия.
О взаимоотношениях маршалов и
солдат во время походно-полевой жизни

Так примерные солдаты старались выполнить свой служебный долг, чтобы не огорчать маршалов. Маршалы же Мюрат и

И потянулся праздник. Гуляют люди по саду. И к Михаилу Трофимычу все с вопросами да с почтением. А над садом луна большая, круглая.

— Ты, Михась, — говорит захмелевший Остап Цыбуля, — будто лампочка — в тень заходишь, а от тебя свет падает.

— Он у нас такой, — отвечает Цыбуле Левощекин Евсений, — шанок, одним словом.

А Правощекина Таисья Егоровна отошла поодаль, села на скамеечку и, томясь в лунном свете, заиграла на серебряной трубе.

А там, когда солнце, проскользнув между конторой и гаражом, готово было скрыться за маковой Козьей Пупой, то с моста и берегов Пески уже некому было бросить на него, на солнце, последний взгляд. На прибрежном песке стояли обтекающие трактор и грейдер. И все кругом — и на мосту, и по правому, и по левому берегам речки — было усезно копфетными бумажками, шелухой кедровых орехов и, конечно, окурками.

А там? А там — это я машу вам рукой, я говорю вам: до свидания. Я говорю вам: до встречи.